

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

ФЛОРЕНСКИЙ П. А.

ТЕРМИН *

1. Всем предыдущим утверждена мысль о двойственной природе языка. Язык антиномичен. Ему присущи два взаимоисключающие уклона, два противоположные стремления. Однако, эти две живущие в нем души — не просто две, а пара пребывающая в сопряжении, сизигия **, они, своим противоречием, язык осуществляют; вне их — нет и языка. Мы убедились в этом, проследив попытки диссоциировать полярно-сопряженную антиномию языка и, диссоциировав, представить в чистоте либо тезис, либо антитезис: ни тот, ни другой, поскольку они в самом деле освобождаются взаимно, не дают языка. И тот и другой, порознь, получив развод, обеспложиваются и перестают рождать мысль. Диссоциируя, язык гибнет, если только не происходит, тайком, хотя бы частичного воссоединения разложенных стихий его. Творческое, индивидуальное, своеобразное в языке, личный отклик всем существом, вот сейчас, мой, на это, определенное явление мира, — язык, как творимый в самой деятельности речи, и только как таковой, ведет, чрез чистую эмоциональность, к за-умности, и от за-умности к нечленораздельности, и теряется в стихийных шумах, стуках, свистах, рокотах и вое; непосредственность языка неминуемо превращается в бессмысленность и бессмысленность. Напротив, монументальное, общее в языке, как только общественным, только общим, как всецело ради всех существующим, — язык, как данный мне обществом и мне предоставленный лишь на пользование, но отнюдь не мой, и — только как таковой, ведет, чрез рассудочность, к условности, а от условности к произволу языкодателя и тут опустошается в ограниченности отъединенного разума. Оба пути, каждый по-своему, уничтожают язык и следовательно, рассмотренными опытами над языком устанавливается неразрывность языковой антиномии: в природе языка есть противоречивость, но противоречивость эта существенна, и ею живет и существует язык. Два устоя языка взаимно поддерживают друг друга, и устранением одной из противоположающихся сил опрокидывается и другая. Язык не только и м е е т в себе эти борющиеся стремления, но и возможен

* Статья П. А. Флоренского «Термин» печатается по тексту «Dissertationes Slavicae. Slavistische Mitteilungen. Sectio Historiale Litterarum». XVIII (Szeged, 1986).

Рукопись публикуется по авторскому машинописному оригиналу 1922 года с учетом подготовительных материалов из архива семьи Флоренских. К тексту Флоренский сделал примечания и ссылки на литературу (как правило, неполные). По этим отрывочным указаниям были уточнены выходные данные изданий, которыми пользовался Флоренский, приведены необходимые цитаты из этих книг или из их позднейших переизданий. Рукопись подготовлена к печати С. М. Половинкиным, А. С. Трубачевым и С. З. Трубачевым. Примечания В. В. Бибикина и С. М. Половинкина.

** Сизигия / греч. *συνζυγία* / — соединение, сопряжение, сочетание, супружество, а также общее название полнолуний и новолуний, т. е. моментов, когда солнце, земля и луна расположены на одной прямой.

лишь их борьбою, осуществляясь как подвижное равновесие начал движения и неподвижности, деятельности и вещи, импрессионизма и монументальности.

II. Но, в таком случае, крепость языка есть — не монизм его, не стерилизованная чистота того или другого, стихийного или логического его начала, не однобокое вытягивание в одну сторону, а напротив, напряженность его антиномии, как целого: мощная взаимо-подпора обоих устоев. Не ослаблять один из полюсов антиномии языка требуется, а напротив — равномерно усиливать обе; — вот чем язык крепнет. Углубление, сгущение, оплотнение языка достигается чрез повышение его *tugor vitalis*, — когда самособирается, организуется и выкристаллизуется его противоречивость. Культура языка двуединым усилием подвигает его по двуединому пути зараз, и только так может продвинуть к новым достижениям, не разрушая при этом самого существа его. Работа над языком имеет задачу свою: железную антиномию его закалить в сталь, т. е. сделать двойственность языка еще бесспорней, еще прочней. Этой сталью должна быть и наука и философия, — или вовсе не быть. Да, если наука и философия, будучи языком, и только языком, и взаимно исключая друг друга своими устремлениями, будучи выразительницами противоустраемляющихся сил языка, если они все же суть и не разлагаются, не рассеиваются и не исчезают, то это значит одно: они суть по-скольку есть самый язык; наука и философия — две руки одного организма языка. Своеобразие их уклонов есть лишь окраска их основного ядра, общего в них, это же последнее — самый язык, но закаленный и уплотненный, — слово созревшее.

Это зрелое слово относится к слову житейскому как яблоко садовое — к маленькому яблочку лесному, — по меньшей мере так; далее мы увидим, что то и другое слово разделяется расстоянием гораздо большим, характером их функций. Но мы постараемся постепенно подойти к выяснению строения и функции этого культивированного слова, вникая, что собственно требуется от него. Требуется же от него, по сказанному, наибольшая напряженность словесной антиномичности. Искомому слову должно быть крепчайшим упором мысли, как сокровищнице исторической всего человечества, как народному и даже все-народному условию духовной жизни; оно должно выситься пред каждым индивидуальным сознанием безусловною данностью, непоколебимым маяком на пути постижения жизни; оно — говоря предельно, — есть некое окончательное слово, которое настолько попало в самую точку, в самую суть познаваемой реальности, настолько в нем выразилась природа человечности, — что никто и никогда не посмеет и не сумеет посягнуть на это слово, не обкрадывая духовно себя самого. Да, это искомое слово есть какой-то максимум словесности в известную сторону, далее которого искать нечего, — предельная достигнутость. В этом слове человеческая словесность нашла чистейшую, выработаннейшую свою линию, которую выразило то, что требовалось выразить, и потому всякая иная линия в том же направлении — хуже, дряблее, менее точна. Итак, рассматриваемое слово предстоит нашему духу законченным произведением человечества, и таким словом надлежит лишь пользоваться, как окончательно готовым.

Но, с другой стороны, это же самое слово должно предельно выражать и другой полюс речи: оно мыслится нами, как наиболее индивидуальное, наиболее отвечающее личному вопросу каждого, им пользующегося,

и притом в каждый данный момент, по каждому особому поводу, при каждом частном намерении. Это — такое слово, что никто и никогда не отходит от него «тощ и неуслышан», никто не почувствует, что своеобразие его именно внутренней жизни, его именно мысли, чувства и желания, остается неудовлетворенным этим словом, невысказанным, невыразимым, искажаемым. Оно пластично до предела, оно поддается тончайшим веяниям духа, отпечатлевая их и запечатлеваясь ими. В нем словно предобразованы все могущие возникнуть оттенки и направления духовных движений, так что каждое явление духа, самое новое, самое по-видимому, неожиданное, самое своеобразно-индивидуальное, даже до капризности, находит себя в таком слове, находит себе уготованное вместилище, готовое жилище своего обитания, — как бы одежду, сшитую вполне по мерке именно ее, этой индивидуальной устремленности духа. Короче говоря, рассматриваемое слово мыслится, как не имеющее в себе ничего готового, ничего заранее намеченного: пластической массой, ждущей велений духа и податливую на первое оформление, равно как и на первое же снятие прежде приданной формы, а точнее — как бы газообразною средою духо-явлений, вовсе не имеющей собственной формы и годною в любой момент на все, — должно служить нами рассматриваемое слово.

III. Тем и другим должно быть это слово зараз: столь же гибким, как и твердым, столь же индивидуальным, как и универсальным, столь же мгновенно-возникающим, как и навеки определенным исторически столь же моим произволом, как и грозно стоящею надо мною принудительностью.¹ «Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже сорок лет», — говорил Израилю Моисей, напоминая о чудесных годах сорокалетнего странствования / Второз. 8,4 /. Но это чудесное сохранение одежды и обуви еще не объясняет, как было возможно странствование в пустыне, когда за сорок лет дети выросли в зрелых людей, и одежда и обувь, хотя и неветшающие, становились не впору. Поэтому в галактических легендах дается на поставленный вопрос дополнительное разъяснение, а именно, что одежда и обувь Израиля не только не ветшали, но и чудесным образом всегда приспосаблились к выраставшим их собственникам. — Вот, таким-то и неизменным и все-приспособительным, должно быть то зрелое слово, на котором развиваются наука и философия и которым живы обе они. Чтобы быть таковым, оно должно быть неизмеримо, так сказать, питательнее обыкновенного слова, неизмеримо сочнее, неизмеримо сгущеннее, и вместе с тем быть устойчивым, твердым, и даже неизмеримо устойчивее и тверже обычного слова. При полной внутренней определенности своей, это искомое нами слово дает простор нашему духу еще и еще возвращаться к слову, не наскучивая им, не исчерпав его, не ощущая направляющего его воздействия как чего-то насильственно-принудительного, стесняющего духовное творчество. Возвращаясь к этому слову, мы каждый раз находим в нем новое себе питание, источник новых сил и новых обогащений. «Творения великих мастеров не для того сделаны, — говорит В а к к е р о д е р, — чтобы их видел глаз; но чтобы мы, в оные вникнув усердно душою, ими жили и дышали. Драгоценная картина не то же, что параграф из учебной книги, который я, извлекиши зерно смысла с небольшим трудом, бросаю, как скорлупу ненужную; напротив, наслаждение изящными произведениями художества длится бесконечно; мы думаем все глубже в них проникнуть, — они же все вновь возбуждают наши чувства, и нет такого дна, где душа их совершенно бы исчерпала. В них горит как будто неугасимый елей жизни»¹. То, что

Ваккеродер отмечает в великих произведениях изобразительных искусств, как свойство таких произведений, есть свойство великого слова, и картина или статуя разделяют его в качестве тоже слов нашего духа, — запечатленных в твердом веществе слов жеста, жестов пальцев и руки, тогда как слово звуковое есть запечатление жеста голосовых органов и притом запечатление в воздухе. Картина и статуя принципиально суть слова. Но к тому ядровому слову преимущественно звуковому, о котором идет у нас речь в этой главе, приведенное место из Ваккеродера приложимо в полной мере. — В греческом языке есть глагол $\acute{\alpha}\nu\text{-}\epsilon\rho\upsilon\acute{\alpha}\omega$ или $\epsilon\rho\upsilon\acute{\alpha}\omega$, того же корня, что и глагол $\epsilon\rho\epsilon\omega$; эти глаголы значат: спрашивать, исследовать, отыскивать, осматривать, рассматривать; но производное отсюда прилагательное $\acute{\alpha}\nu\text{-}\epsilon\rho\epsilon\upsilon\eta\tau\acute{o}\varsigma$ энантиологически значит вовсе не: исследованный или известный, а, напротив: неисследованный, необъяснимый; смысл этой энантиологии понять не трудно: отглагольное прилагательное на $\text{-}\tau\acute{o}\varsigma$ показывает на возможность в страдательном смысле; $\acute{\alpha}\nu\text{-}\epsilon\rho\epsilon\upsilon\eta\tau\acute{o}\varsigma$ значит: подлежащий исследованию, могущий быть исследованным, предстоящий к рассмотрению, а поэтому, следовательно, — еще не исследованный; таковой мыслится всегда подлежащим исследованию и всегда же, следовательно, не исчерпанным исследованием, никогда не доисследованным, а потому и необъяснимым ². Так должно быть понимаемо то сгущенное слово, о котором размышляем мы. — его неисчерпаемая полнота, настолько содержательная и синтетичная, что всякое движение мысли по данному, по заданному словом направлению или целому пучку направлений, встречает себе открытый путь и продолженную гладкую дорогу. Об этом слове воистину можно сказать $\acute{\alpha}\nu\text{-}\epsilon\rho\epsilon\upsilon\eta\tau\acute{o}\varsigma$. Так в таинственных жидкостях природы, меда и молоке, синтезированы в полно-содержательное единство разнообразнейшие соки двух царств природы, — растительного — в меде и животного — в молоке; в конечном же счете, та и другая жидкость есть, по выражению одного старинного писателя, «образец всеобщего лекарства» ³, ибо заранее дают организму всякий могущий потребоваться ему сок, своею полнотою заранее удовлетворяют всякой нужде, предлагая раньше, чем может встретиться надобность, и предлагая больше, чем что будет спрошено самым своенравным инстинктом. Мед и молоко дают на себе приметить, — по выражению того же автора, «малые тайны» ⁴ природы. В области же творчества духовного, «малые тайны» вселенского собрания и, потому, вселенской полноты имеем в собирательном слове, которым живо духовное творчество в науке и в философии.

IV. Но подобные же выражения были уже высказаны ранее, когда говорилось о диалектике, и именно применительно к бесконечной, неисчерпаемой мыслию полноте реальности: и о реальности было сказано: $\acute{\alpha}\nu\text{-}\epsilon\rho\epsilon\upsilon\eta\tau\acute{o}\varsigma$. Иначе говоря, зрелое слово как-то отвечает реальности, есть само образ реальности. Впрочем, можно было догадаться о таком исходе наших размышлений, коль скоро задачей познания было выставлено: дать наиболее полное и сжатое описание реальности. Описание из неподвижной точки зрения не могло быть таковым, по его бедности. Но описание движущееся, если бы оно могло свиваться в синтетические узлы, именно и представилось бы в этом, свитом, своем состоянии высказываемым такими, полновесными словами. Диалектическое проникновение в жизнь завершается расцветанием в мысли цветов, подводящих итог всем последовательным переходам умозрения, и в этом смысле как

будто полагающими предел процессу вживания. Но было бы ошибочным счесть такой предел движущейся мысли за простую остановку мысли, — за остановку той, которой существенно не свойственно коснеть в покое. Нет, если это и остановка, то такая, что в ней живо движение, так сказать, движущийся покой или покоящееся движение. Если выразиться образно, то можно назвать обычный ход диалектического умозрения — путем, восхождением на вершину, а достигнутое синтетическое слово — созерцанием с самой вершины: поступательность тут движения прекращается, но это не значит, что прекращается вообще движение, ибо путник, достигший высшей точки своего пути заменяет продвижение — вращением; да, пред ним открылись горизонты столь широкие, что есть что созерцать, а малейший поворот вправо или влево даст ему новую полноту возвышенных зрелищ. В шествии путника произошла остановка; но так как задача самого шествия — не простая перемена места, а обогащение опыта, то эта остановка на вершине, задерживающая путника своими далекими перспективами и разнообразными картинками, есть не только не перерыв его пути, но, и, напротив, усиление пути, ступение его, если понимать путь функционально.

Воспользовавшись математическим выражением, можно назвать эту вершинную стоянку мысли — относительным максимумом пути, — в том смысле, что наличный в ней охват духовного кругозора превосходит все смежные, как предшествовавших, так и последующих точек умозрения. Достигнув этого относительного максимума в своем движении, мысль покоится на созерцательной вершине, и долго может покоиться, пожиная плоды своего восхождения. Но когда она пожелает идти дальше, продвигаясь еще, ей необходимо оставить вершинную стоянку и обречь себя на сужение своего горизонта, чтобы в своем дальнейшем пути, отчасти спустившись с занятой вершины, начать новое восхождение, на новую и новые вершины. На них ей снова предстоят остановки и соответственные им расширенные созерцания; с этих вершин ей откроются не только новые понимания расстилающихся пред нею далей, но и самый путь ее, как пройденный, так в особенности и подлежащий, будет усмотрен с большею сознательностью. Можно даже сказать, что ясное сознание, а потому и планомерность путей мысли, дается диалектику только на этих стоянках, когда долгие их переходы видятся не шаг за шагом, а — связными линиями. Но, зачарованная этими перспективами, Наука начинает верить в достигнутую вершину как в окончательность, и в наличности остановки усматривает оправдание неподвижности вообще, вследствие чего дальнейшим усовершенствованием своей стоянки, кстати сказать не ею самую достигнутой, полагает закрепление и поворота наблюдателя, так чтобы отныне все, попавшие на эту вершину, всегда смотрели на дали чрез определенное, ради установки глаза проделанное, отверстие, но никак не оборачивались из стороны в сторону.

V. Но если чрезмерное медление на достигнутых высотах, если вера в эти конечные высоты как в Высоту окончательную — мертвит и опустошает Науку, то, тем не менее, эти высоты необходимы не только Науке, расширяя ее кругозор, но и Философии — ритмически расчленяя ее диалектическое движение паузами и придавая ее текучести известную устойчивость, вследствие чего делается возможною большая сознательность и более легкая удерживаемость памяти. Диалектике вообще не свойственна нерасчлененность, ибо всякий вопрос предполагает остановку для получения

ответа, и ритмический ход вопросов-ответов приглашает вспомнить скорее о пешеходе, чем о велосипеде. Но эти мелкие ритмопаузы требуют дальнейших группировок, более определенно выраженных стоянок мысли. Пора, однако, после сделанных предварительных разъяснений, назвать эти стоянки мысли и более определенным именем, чтобы легче узнать в них знакомое уже нам из наук о познании, поскольку там эти стоянки мысли уже обсуждались. Но и то следует оговорить: мы не знаем одного имени этим стоянкам, и потому именно доселе уклонялись от попытки назвать их не описательно. Трудность же назвать их — двойкая: $\sqrt{\text{синтетические}}$ слова, в зависимости от степени и ступени своей синтетичности, бывают разных порядков и, если воспользоваться выражением, применимым Н. В. Бугаевым⁵ в учении о бесконечностях, — разных пород. В нашем случае, эти порядки и породы различаются не количественно, во всяком случае не только количественно, но и качественно, — мало того, могут иметь между собою существенные рубежи, переходя которые неизбежно пересматривать и перестраивать и весь строй внутренней жизни, круг сложившихся понятий и мысленных связей между ними, а главное — привычные и укоренившиеся оценки. Будучи на пути движения мысли формально аналогичными, как несущие аналогичные функции, — того, что Г. Кантор в своей теории трансфинитов назвал «принципом ограничения», в образовании числовых символов, в противоположность другому, противополоственному принципу той же области — «принципу продолжения»⁶, рассматриваемые нами синтетические слова весьма многообразны, и желание во что бы то ни стало дать им название преждевременно-необходимо поведет к сужению их области, а потому — к искаженному пониманию их духовной функции. Между тем, не трудно догадываться, что эта функция столь же обширна и столь же глубока, как и самый дух, ибо словом — все возможно, и слову все доступно. Из боязни испортить все дело и ослабить незаметно привнесенными предпосылками позитивизма намеченное понимание слова, воздержимся пока от подразделений слов высших порядков и высших пород, и отметим вторую причину трудности дать тут единое наименование.

VI. Когда по-русски мы говорим: «с л о в о», то имеем в виду и целую речь, и отдельное предложение, и каждую отдельную часть речи, грамматически или словарно называемую «словом» в узком смысле; так, говорится о «даре с л о в а», о «с л о в е с н о с т и» и т. д. Греческое слово $\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$ опять-таки имеет значение и речи, и отдельной фразы и отдельного слова, в узком смысле. Иначе и быть, впрочем, не могло, — не должно было бы, ибо всякое отдельное слово не есть что-либо существующее самостоятельно, но — лишь узел тех процессов, которые составляют речь, и в своем значении определяется лишь в живой речи, а не в уединении словаря; как на крайний пример этой изменчивости смысла отдельного слова можно сослаться на проническое или саркастическое пользование словом, когда значение его изменяется в прямую противоположность более обычному значению. Воистину, слово есть инвариант, но инвариантность эта невыразима словесно же /единственным способом выражения ее служит самое слово, оно одно, и никакое другое слово не возьмет его смысла глубже и полно-охватнее, нежели выражает оно само себя/; в порядке же словесном — слово предельно свободно, имея силу означать весьма разное, включительно до своей прямой противоположности. Следовательно, слово есть

точка приложения деятельности мысли, создающей предложение и даже целую речь, получая впечатления ото всей речи, но в разной, так сказать, степени плотности. А с другой стороны, самое предложение определяется словами, из которых оно строится, и вне слов не существует. Части речи определяются частями предложения, и наоборот, части предложения устанавливаются частями речи: тут новая антиномия языка, — антиномия части речи и части предложения. Но не углубляясь сейчас в нее, мы должны, ради ясности дальнейшего, отметить, что слово, понимаемое узко, должно рассматривать как свившееся в комок предложение и даже целую речь, а предложение — как распустившееся свободно слово. В современной логистике понятна и использована эта взаимообратимость двух моментов языка: одни и те же буквы в формулах символической логики не означают ни только понятий, ни только суждений, или, как принято их теперь называть, по примеру англичан, — предложений; точнее сказать, буквы в этих формулах означают и понятия и предложения *з а р а з*, так что алгебра логики «допускает... две различных, почти параллельных интерпретаций, в зависимости от того, выражают ли буквы понятия, или предложения»⁷. При этом «логическое значение и дедуктивная связь формул несколько не зависит от интерпретаций»⁸; «С целью не предусматривать никакой интерпретации, мы скажем, что буквы выражают *Т Е Р М И Н Ы*: эти термины могут быть, смотря по обстоятельствам, понятиями или предложениями»⁹. Понятия и суждения противопоставляются друг другу только соотносительно, сами же по себе не могут рассматриваться обо-собленно. Еще с большей силою то же надо сказать и о словах и предложениях, тем более, что даже формально-грамматически, любое слово может быть самостоятельным предложением, и наоборот, любое предложение, как бы оно длинно ни было, можно обратить в одно сложное слово, поставив в кавычки, а в языках, где имеется член, — греческом, французском, немецком и др., — приставив ко всему предложению член. Следовательно, теперь, понятно, почему живое слово-употребление не сузило значения слова «с л о в о» и понимает его приблизительно так, как в логистике, по сказанному выше, понимается слово «т е р м и н». Но это последнее мы сохраним для более определенных случаев, а без особой нужды станем говорить, как и говорили до сих пор, — «с л о в о».

VII. Возвращаясь к обсуждению слова синтетического. Из сказанного явствует, что таковое может быть: как синтетическим предложением, так и синтетическим отдельным словом, в узком смысле. И вот трудность: выразить одним наименованием сразу и то и другое. Единое синтетическое слово распадается, если судить по наименованиям, на две параллельных линии, на две параллельных серии, из коих каждая подымается, как выяснено ранее, своим хребтом с высящимися на нем пиками. Эти два хребта есть на деле о д и н хребет, и эти пики суть попарно одни и те же пики, но в языке нашем они неминуемо дwoятся и кажутся двумя.

Технические выражения и обобщающие формулы, словесные или символические, например, алгебраические, — такова первая пара соответственно связанных и взаимно-превращаемых ступеней на пути мысли. Всякое техническое наименование, в какой угодно области знания, вводится определением, а это последнее предполагает за собою некоторое экзистенциальное суждение¹⁰ — суждение о существовании того комплекса признаков, который связывается во-едино выставляемым определением; это экзистенциальное суждение или эта экзистенциальная интуиция свиде-

тельствует о возможности этого комплекса, — возможности внутренней, отнюдь не формально-логической, но связанной со всем строением данной области познаваемого, возможности приемлемой всеми закономерностями этой области, а кроме того, утверждает устойчивость, т. е. пребываемость обсуждаемого комплекса, его внутреннюю организованность, внутреннюю связность и единство. Если определение лишено экзистенциальности, т а к понимаемой, то оно есть лишь пустое притязание, видимость слова, но не слово. ибо мыслится только в качестве звука, сопровождаемого случайными ассоциациями, но не как определенное содержание мысли, и потому беспредметное, — и ускользает от нее, расползаясь на отдельные элементы слова, лишь только мысль подходит к такому определению, или к равносильному ему определяемому им техническому выражению вплотную. Иными словами, всякое техническое выражение, действительно нужное мысли, а не представляющее собою тормозящего речь варваризма, непременно предполагает и новое усмотрение мыслью внутренней связности того, к чему это выражение относится, — значит служит синтезу многих слов, которыми могла бы быть описана вновь найденная связность. Подлинное техническое выражение, имеющее залог жизненности и надеющееся пережить «завистливую даль», если не «веков», то хотя бы годов, творится духом вместе с подъемом мысли на вершину, пусть невысокую, но во всяком случае господствующую над окружающей местностью в процессе подъема. Оно непременно есть некоторая о с т а н о в к а мысли, в смысле выше-разъясненном, и его следует оценивать именно как таковую. Если же создающий его стоит лишь на склоне горы, остановившись не ритмически, — от усталости, но вовсе не потому, что он достиг относительного максимума, высоты, хотя бы и небольшой, то техническое выражение, по самому существу дела, не есть устойчивое создание слова и распадается, лишь только мысль тронется далее, и, кроме того, насквозь субъективно, не соответствуя никакому естественному расчленению реальности, никакому естественному ритму диалектического хода. Таким образом, техническое выражение действительно свивает в себе некоторое сжатое описание реальности, той или другой, — ибо и математические сущности — тоже своеобразная реальность, — а обобщающая формула, — тоже, конечно, описание, — она проразрывает, разбивает, распускает означенное техническое выражение.)

VIII. Уже низшая область таких выражений, Н О М Е Н К Л А Т У Р А, под каковою, по В. Уэвеллю¹¹, надо в классификаторных науках, разуметь, «совокупность на з в а н и й в и д о в», дает нам прочеканенные и пройденные резцом слова повседневного языка; непосвященному в классификаторную систему той или иной области бытия такая совокупность названий представляется легким сочинительством несносного педантизма, тогда как, на самом деле, каждое удачное название опирается на годы внимательнейшего вглядывания, на познание тесно-сплоченных и устойчивых переплетений многих признаков и на понимание, как именно соотносятся эти комплексы к раз ным другим того же порядка. Такое название есть сжатая в одно слово, простое или сложное, ф о р м у л а изучаемой вещи и действительно служит остановкою мысли на некоторой вершине. Систематика химии, минералогии, ботаники, зоологии, и, в меньшей степени других наук, есть сгущенный опыт много-сот-летней истории человеческой мысли, уплотненное созерцание природы, и, конечно, есть главное достояние соответствующих областей знания, наиболее

беспорное, наиболее долговечное¹². Недаром Библия проявлением разума первого человека, как бы доказательством его божественного образа и потому его выделенности из ряда всех тварей земных, выставляет наименование Адамом всех прочих тварей: «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел /их/ к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым» /Быт. 2, 19—20/. Л о т ц е указывает, что голое восприятие предмета не удовлетворяет нас, и нам требуется ввести предмет в систему нашей мысли, а для этого необходимо наименовать его. «Имя свидетельствует нам, что внимание многих других покоилось уже на встреченном нами предмете, оно ручается нам за то, что общий разум, по крайней мере, пытался уже и этому предмету назначить определенное место в единстве более обширного целого. Если имя и не дает ничего нового, никаких частных предметов, то оно удовлетворяет человеческому стремлению постигать объективное значение вещей, оно представляет незнакомое нам чем-то не безызвестным общему мышлению человечества, но давно уже поставленным на свое место»¹³. Поэтому, назвать — это вовсе не значит условиться по поводу данного восприятия издавать некоторый произвольно избранный звук, но, «примыкая, — по изречению Вильгельма Гумбольдта¹⁴, — своею мыслию к мысли общечеловеческой», дать слово, в котором общечеловеческая мысль, обратно, усмотрела бы законную, т. е. внутренне-обязательную для себя, связь внешнего выражения и внутреннего содержания, или, иначе говоря, признало бы в новом имени — с и м в о л. Символичность слова, — в чем бы она ни заключалась, — требует вживания в именуемое, медитации над ним и, говоря предельно, — мистического постижения его. Иначе созданное слово — как плева будет отваяно временем и унесено в сторону от жизни человеческой культуры. «Произвольно данное нами имя не есть имя, — говорит тот же Л о т ц е, — недостаточно назвать вещь, как попало: она действительно должна так называться, как мы ее зовем; имя должно быть свидетельством, что вещь принята в мир общепризнанного и познанного, и, как прочное определение вещи, должно ненарушимо противостоять личному произволу»¹⁵. При большой проникновенности духовной жизни связь имени с предметом именуемым ощущается еще более тесною; выразительный пример этого непосредственного ощущения находим в биографии Якова Беме. «Однажды он после продолжительного мистического бодрствования, чтобы рассеять себя, вышел из дому и направился в поле, где почувствовал, что чем далее он идет, ... тем понятнее ему делаются все видимые вещи, так что по одним очертаниям и краскам оных он начал узнавать их внутреннее бытие. Словом, чтобы точнее определить его душевное состояние, выражусь стихами поэта:

И внял он неба содроганье,
И горних ангелов полет,
И гад земных подводный ход,
И дольней лозы прозябанье!»

Точно в такой же почти сверхъестественной власти у Бема были и языки иностранные, из которых он не знал ни единого; несмотря на то, однако, как утверждал друг его К о л ь б е р, Бем понимал многое, когда при нем говорили на каком-нибудь ЧУЖОМ языке, и понимал именно потому, что ему хорошо известен был язык природы. Желая, например, открыть сущность какой-нибудь вещи, он часто спрашивал, как она называется

на языке еврейском, как ближайшем к языку натуры, и если сего названия не знали, вопрошал о греческом имени, а если и того не могли ему сказать, то спрашивал уже о латинском слове, и когда ему нарочно сказывали не настоящее имя вещи, то Бем по наружным признакам угадывал, что имя вещи не таково»¹⁶.

Понимание слова есть деятельность внутреннего соприкосновения с предметом слова, и потому вполне понятно, что разобщенность духовная от бытия ведет к непониманию слова. Углубленность понимания вырастает из теснейшей духовной сплоченности, тогда как грех разрушает и то понимание, которое было ранее. Вот почему Сошествие Святого Духа на Апостолов в Пятидесятницу, т. е. одухотворение их и самое внутреннее объединение, как клеточек вновь явившегося на земле Тела Христова, непосредственным следствием имело дар языков. «И егда скончавшася дние Пятидесятницы, беша вси Апостоли единомудно вкупе. И бысть внезапно с небесе шум, яко носиму духанию бурну, и исполни весь дом, идеже бяху сядуще: И явишася им разделени языци яко огнени, седе же на едином коемждо их. И исполнишася вси Духа Свята. и начаша глаголати иными языки, якоже Дух даяше им провещавати. Бяху же во Иерусалиме живущии Иудеи, мужие благоговейнии от всего языка, иже под небесем. Бывшу же гласу сему, снидеша народ и смятеша: яко слышаху един кийждо их своим языком глаголющих их. Дивляхуся же вси и чудяхуся, глаголюще друг ко другу: не се ли вси сии суть глаголющии Галилеане; И како мы слышим кийждо свой язык наш, в нем же родихомся, Парфяне и Мидяне и Еламита, и живущии в Месопотамии, во Иудеи же и Каппадокии, в Понте и во Азии, во Фригии же и Памфилии, во Египте и странах Ливии, яже при Киринии, и приходящии Римляне, Иудеи же и пришельцы, Критяне и Аравляне, слышим глаголющих их нашими языки величия Божия» /Деян. 2, 1—11/. Это событие воссоединения человечества в взаимном понимании чрез нисхождение Духа Святого есть аналогическое, но обратно направленное, событию раздробления человечества в смешении языка его — чрез попытку взойти до неба без Духа и утвердить свое единство помимо Бога внешним памятником, — символ человекобожества в области самочинной мистики и самочинной общественности. «Приидите, — сказал в себе Бог, — и сошедше смесим тамо язык их, да не услышит кийждо гласа ближнего своего» /Быт. 11, 7/. Шелли и Г¹⁷, подметивший взаимно-обратность Вавилонского смешения и Пятидесятничного воссоединения, подчеркивая излагает свое сопоставление и явно гордится им. Но он остается неосведомленным в том, что названные события неоднократно сближаются в святоотеческой письменности, и даже в богослужебных песнопениях Пятидесятницы определенно высказана эта мысль: «Языцы иногда размесишася дерзости ради столпотворения: языцы же ныне умудришася, славы ради боговедения. Тамо осуди нечестивыя погрешением: zde просветил есть Христос рыбаки Духом. Тогда упразднися безгласие к мучению: ныне обновляется согласие ко спасению душ наших»¹⁸. Или еще: «Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний, егда же огненные языки раздаше, в соединение вся призва, и согласно славим Всесвятаго Духа»¹⁹, и др. В чем именно состояло это соединение языков, и что именно должно разуметь под языками, в данном месте Деяний, это составляет трудный, до сих пор не вполне решенный вопрос экзегетики²⁰. По видимому, однако, наиболее вероятно должно признать или то решение, по которому одухотворенность слова апостолов делала его лингвистически прозрачным и различным пришельцам в Иерусалим, снимая с речи ту глубокую кору, которою она покрылась после Вавилонского смешения, или же

то, — согласно которому в преисполненности Духом апостолы нашли себе источники творчества перво-языка, утерянного человечеством в Вавилоне, и, заговорив на этом праязыке, были понятны иностранцами²¹. Но, так или иначе, а суть события — в метафизической проникновенности слова у человека духо-носного. Не вдаваясь далее в эти чрезвычайные, высшие состояния, вернемся к обсуждаемому нами синтетическому слову, на следующей после углубленных и м е н его ступени. Эта последующая ступень есть термин, когда оно берется в свернутом виде, и — з а к о н, формула закона, когда синтетическое слово взято развернутым.

(Окончание следует)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. /Ваккеродер/, — Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного, изданные Л. Тиком. М., 1826. М., 1914, с. 113—114. / Ср.: В. Г. Ваккеродер. Фантазии об искусстве. М., «Искусство», 1977, с. 75—76. — «История эстетики в памятниках и документах». Немецкое Wackenroder П. А. Флоренский переводит как Ваккеродер, сейчас принято Вакенродер./
2. E. Boissacq, — Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Heidelberg — Paris, 1909. 4^{me} livr., p. 278: ἐρέω. Бензлер/— Греческо-русский словарь, Киев/, 1881, с. 59: *хверевуаω, ахверевуητοω*.
3. А. Ω — Gemma Magica, или магический драгоценный камень... J. A. Θ. М., 1974, с. 32.
Вернадский Г. В. Русское Массонство в царствование Екатерины II. — Пг, 1917, с. 256: «Франкенберг А. /1593—1652/. 1784, — А. Θ. Gemma Magica или Магический Драгоценный Камень; то есть краткое изъяснение Книги Натуры, по семью величайшим листам ея, в которой можно читать Божественную и Натуральную Премудрость, вписанную перстом Божиим. Кн. Премудр. гл. I, ст. 4. Премудрость не вийдет в зло кровную дугу I. А. Θ. Сия премудрость не падает на неблагоприятные умы, но на добродетельные и благородные. В печать отдано и спешествовано любителем покойного автора, с пожалованием и дозволением Аполлона и Музы: Л. 8^o.» — Издание Новиковского кружка./
4. id., с. 32, но в книге речь идет не о молоке, а о «коровьем масле», и о меде.
5. Н. В. Бугаев / П. А. Флоренский. О типах возрастания. — «Богословский вестник», 1906, т. 2, № 7, с. 539: «Во всех этих случаях мы имеем дело с различными п о р я д к а м и бесконечностей. Но оказывается, что так — далеко не всегда, и существуют функции безусловно не сравнимые таким образом. Другими словами, отношение функциональных значений стремится к бесконечности с возрастанием x и, какие бы итерации и действия им подобные мы не производили над функцией меньшего типа возрастания, функция большего типа окажется для нее недостижимой, имеющей бесконечность не только другого порядка, но и другой п о р о д ы, по терминологии Н. В. Бугаева^{1/}.
6. /См. кн.: Георг Кантор. Труды по теории множеств. — М., «Наука», 1985, с. 66, 92—93, 221, 360/
7. Л. Кутюра, — Алгебра логики. Перевод с прибавлениями проф. И. Слешинского. «Mathesis», Одесса, 1909, с. 1—2, § 2.
8. id., с. 2, § 2.
9. id., с. 2—3, § 2.
10. /Сноска не сохранилась. Приведем определение экзистенциальных суждений по Гегелю, указанная книга которого цитируется далее П. А. Флоренским. Проф. Алоиз Геглер. Основные учения логики. Пер. с четвертого нем. изд. И. Давыдова и С. Салитан. С пред. И. И. Лапшина. — СПб., Издание «Научно-философской библиотеки», 1910, с. 84: «Такие суждения, как „Бог есть“, „Нет призраков“, не имеют другого смысла и другой цели, кроме утверждения или отрицания «существования» обсуждаемого»./
11. Вильям Уэффелль, — История индуктивных наук от древнейшего и до настоящего времени. Перев. ч. 3-го англ. изд. М. А. Антоновича. СПб., 1869, т. 3, с. 402, книга XVI, гл. IV, § 2.
12. /Сноска не сохранилась. В подготовительных материалах к работе «Термин» сохранился листок с записью: «Термин. Джевонс. Основы Науки, с. 628. О значении классификации». Стенли Джевонс. Основы Науки. Трактат о логике и научном

¹ Слышал от покойного на его лекциях-беседах. В печати этот термин появляется, кажется, впервые / ».

методе. Пер. со второго англ. изд. М. Антоновича. — СПб., Издание Л. Ф. Пантелеева. 1881, с. 628: «Только применение к делу классифицирующих и обобщающих способностей дает человеческому уму возможность справиться до некоторой степени с бесконечным числом естественных явлений... Мы возвращаем природу к простым условиям, из которых развилось ее бесконечное разнообразие. Как сказал Боуэн, „первая необходимость, которую налагает на нас самое строение нашего ума, состоит в том, чтобы расположить бесконечное богатство природы на группы и классы вещей по их сходствам и сродству и тем расширить кругозор охватываемый нашими умственными способностями, даже с пожертвованием мелочами, которые могут быть узнаны только при подробном изучении предметов. Поэтому первые усилия при разработке знания должны быть направлены на дело классификации. Может быть впоследствии окажется, что классификация есть не только начало, но и высшая точка и конец человеческого знания“»^{2/}.

13. Лотце, — Микрокосм

/Вероятно, П. А. Флоренский дал свой перевод.

Ср.: Герман Лотце. Микрокосм. Мысли о естественной и бытовой истории человечества. Опыт антропологии. Ч. II. — М., Издание К. Солдатенкова, 1866, с. 293—294: «Если мы не в состоянии действительно определить место, занимаемое каким-нибудь произведением природы в ее совокупности, то нас, конечно, успокаивает уже и одно его имя; оно свидетельствует по крайней мере, что и внимание многих других людей останавливалось на том самом предмете, который занимает теперь нас; оно удостоверяет, что общее разумение заботилось отвести и этому предмету определенное его место в связи более обширного целого»./

14. /Вероятно, П. А. Флоренский дал свой перевод.

Ср.: Гумбольдт В. фон. О различии органов человеческого языка и о влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода. Пер. П. Билярского. СПб., 1859, с. 11 = Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984, с. 51: «Язык — не просто внешнее средство общения людей, поддержания общественных связей, но заложен в самой природе человека и необходим для развития его духовных сил и формирования мировоззрения, а этого человек только тогда сможет достичь, когда свое мышление поставит в связь с общественным мышлением»./

15. Лотце, — Микрокосм

/Вероятно, П. А. Флоренский дал свой перевод.

Ср.: Герман Лотце. Микрокосм. Мысли о естественной и бытовой истории человечества. Опыт антропологии. Ч. II. М., Издание К. Солдатенкова, 1866, с. 294: «...всякое произвольно данное имя — не имя в собственном значении: мало назвать вещь как-нибудь, надо, чтоб она и действительно так называлась; имя должно быть свидетельством, что вещь принята в мир общеизвестного и общепринятого бытия, и таким образом нерушимо противостоять всякому личному произволу, как собственное, постоянное ее определение»./

16. А. Ф. Писемский, — Массоны, с. 3-я, VIII, с. 538—539. /Сочинения А. Ф. Писемского. Посмертное полное издание, т. 12. СПб., 1884, изд. тов. М. О. Вольф. /То же в кн.: А. Ф. Писемский. Собрание сочинений в девяти томах, т. 8. Массоны. М., «Правда», 1959, с. 356.

Отрывок из стихотворения А. С. Пушкина «Пророк» дан А. Ф. Писемским с намеренными искажениями. Вот подлинный текст:

«И внял я неба содроганье,
И горный ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье».

/А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах, т. 2. М., Изд. АН СССР, 1963, с. 338./

Бек /, — /Космическое чувство.

/Канадскому психиатру д-ру Беку /Виске/ принадлежит брошюра: Cosmic Consciousness: a study in the evolution of the human Mind, Philadelphia, 1901.

Затем им на ту же тему была написана книга, данных о которой нам найти не удалось. Возможно, что П. А. Флоренский имел в виду отрывки из вышеуказанной брошюры, приводимые В. Джемсом в его книге: Многообразие религиозного опыта. Пер. с англ. В. Г. Малахеевой-Мирович и М. В. Шняк. Под ред. С. В. Лурье. М., Издание журнала «Русская мысль», 1910, с. 387—389: «Космическое сознание в своих ярких проявлениях, говорит д-р Бэки, не представляет собою простого расширения границ самосознающего я, с которым каждый из нас хорошо знаком; здесь мы имеем дело с новой функцией, столь же отличной от всех

² A Treatise on Logic, or Laws of Pure Thought, T. Bowen, Cambridge, U. S. 1866 p. 315» /.

душевных функций среднего человека, насколько самосознание нашего „я“ от-
лично от всех функций, находящихся в обладании высших животных...

Характерной чертой космического сознания является прежде всего чувство
космоса, т. е. мировой жизни и ее порядка: и в то же время это — интеллектуаль-
ное прозрение, которое одно может привести индивидуума в новую сферу суще-
ствования; к этому присоединяется состояние особой моральной экзальтации, не-
посредственное чувство душевного возвышения, гордости и радости; нужно при-
бавить сюда еще обостренность нравственного чутья, не менее важную для нашей
духовной жизни, чем просветленность разума, и наконец, еще то, что можно бы
назвать чувством бессмертия, сознанием вечности жизни, и не в форме убеждения,
что такая жизнь будет у меня, а как сознание, что она у меня уже есть...

Я провел вечер в большом городе с двумя друзьями за чтением и спорами по
вопросам философии и поэзии. Мы расстались в полночь. Чтобы попасть домой,
мне предстояло сделать большой конец в экипаже. Мой ум, еще полный идеями,
образами и чувствами, вызванными чтением и беседой, был настроен спокойно.
Мной овладело состояние почти полной пассивности, и мысли почти без моего уча-
стия проходили через мою голову. Вдруг, без всякого перехода, я почувствовал
вокруг себя облако цвета огня. С минуту я думал, что это зарево большого пожара,
вспыхнувшего где-нибудь в городе, но скоро понял, что огонь этот был во мне.
Неизмеримая радость охватила меня, и к ней присоединилось прозрение, которое
трудно передать словами. Между прочим я не только уверовал, я уви-дел, что
что вселенная соткана не из мертвой материи, что она живая; и в самом себе я по-
чувствовал присутствие вечной жизни. Это не было убеждение, что я достигну бес-
смертия, это было чувство, что я уже обладаю им. Я увидел, что все люди также
бессмертны, что таков мировой закон и что нет случайностей в мире. Каждая вещь
в нем служит благу всех других вещей; основа нашего мира и всех других миров —
любовь; и вообще счастье неизбежно будет осуществлено в грядущих веках. Со-
стояние это длилось всего несколько секунд, но воспоминание о нем и чувство
реальности принесенных им откровений живет во мне вот уже четверть века. В и-
стине этих откровений я не сомневаюсь. С этой точки зрения, с какой я смотрю
теперь на мир, я вижу, что не могут они не быть истинными. Это сознание не
покидало меня даже в моменты величайшего упадка духа».

Другой перевод последнего отрывка дал И. И. Лапшин по книге: James W.,
Varieties of Religious Experience, 1902. См. книгу: И. И. Лапшин. Законы мышле-
ния и формы познания. СПб., 1906. Приложение II. О мистическом познании
и «вселенском чувстве». С. 52—53./

17. / Friedrich Wilhelm Joseph von Schellings sämtliche Werke. Zweite Abteilung.
Erster Band. Einleitung in die Philosophie der Mythologie. Stuttgart und Augsburg,
1956, S. 108—109: «Dem Ereignis der Sprachenverwirrung lässt sich
in der ganzen Folge der religiösen Geschichte nur Eines an die Seite stellen, die mo-
mentan wieder hergestellte Spracheinheit /*ὁμογλωσσία*/ am Pfingstfeste, mit dem
das Christentum, bestimmt das ganze Menschengeschlecht durch die Erkenntnis
des Einen wahren Gottes wieder zur Einheit zu verknüpfen, seinen grossen Weg
beginnt. / Ich hatte darum in den Vorlesungen über die Philosophie der Offenbarung
die Erscheinung am Pfingstfest „das umgekehrte Babel“ genannt, ein Ausdruck,
den ich später bei andern fand. Mir selbst war damals der Wink von Gesenius in
dem Artikel: Babylon der Halle'schen Encyklopädie noch unbekannt. Schon Kir-
chenvätern indes war diese Entgegensetzung nicht ungewöhnlich, die insofern wohl
Anspruch hat, für eine Natürliche zu gelten /».

«Во всей последовательности религиозной истории рядом с событием с ме-
шения языков можно поставить только одно, мгновенное восстановление
единства языка /*ὁμογλωσσία*/ в Пятидесятницу, когда христианство, да и все чело-
вечество начинает свой великий путь к воссоединению, благодаря познанию еди-
ного истинного Бога. / Поэтому в лекциях о философии откровения я назвал про-
исшедшее на Пятидесятницу „Вавилоном наоборот“, — выражение, которое я позд-
нее нашел у других. Намек Гезения в статье „Вавилон“ энциклопедии Халле мне
самому был в то время еще неизвестен. Впрочем, для Отцов Церкви это противо-
поставление не было необычным, так что его вполне можно считать естественным»./

18. Неделя Пентикостии, стихиры на стиховне, на «Слава и ныне» / глас 8: Триодь
цветная. М., Издание Московской Патриархии, 1975, лист 262./
19. то же, кондак Недели Пентикостии / см.: Триодь цветная. М., Издание Москов-
ской Патриархии, 1975, лист. 243 об.: Кондак Недели Пятидесятницы./
20. / Сноска не сохранилась. В архиве семьи Флоренских сохранилась книга из биб-
лиотеки П. А. Флоренского: Священник Михаил Фивейский. Духовные дарова-
ния в первоначальной христианской церкви. Опыт объяснения 12—14 глав пер-
вого послания св. апостола Павла к Коринфянам. М., Товарищество тип. А. И. Ма-
монтова, 1907, см. гл. VIII. Глоссолатические теории, с. 108—121./
21. / Сноска не сохранилась. См. сноску 20—/
22. / Сноска не сохранилась ни в тексте, ни в примечаниях./